

Библиотека
журнала
ЛОГОС

Перри Андерсон

перипетии гегемонии



ИЗДАТЕЛЬСТВО

ИНСТИТУТА

ГАЙДАРА

Перри Андерсон

Перипетии гегемонии

Серия «Библиотека журнала «Логос»»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=40621082

Перипетии гегемонии:
ISBN 978-5-93255-525-5

Аннотация

Гегемония – одно из тех редких слов, которые широко используются в литературе по международным отношениям и политологии, но при этом среди исследователей нет согласия относительно их точного значения.

В первом полноценном историческом исследовании понятия «гегемония» известный британский историк Перри Андерсон прослеживает его истоки в Древней Греции, его повторное открытие во время волнений 1848–1849 годов в Германии, а затем причудливую судьбу в революционной России, фашистской Италии, Америке времен холодной войны, тэтчеровской Британии, пост-колониальной Индии, феодальной Японии, маоистском Китае вплоть до мира Меркель, Мэй, Буша и Обамы.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Содержание

Предисловие	5
1. Начала	8
2. Революции	23
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Перри Андерсон

Перипетии гегемонии

First published by Verso 2017

© Perry Anderson

© Издательство Института Гайдара, 2018

* * *

Предисловие

Немногие специальные термины столь же вездесущи в современной политической литературе, научной или полемической, как термин «гегемония». Однако распространился он достаточно недавно, что легко понять, бросив взгляд на фонды любой крупной библиотеки. На английском языке первое вхождение в каталог Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе датируется не ранее чем 1961 годом. Если проследить, как часто это слово появлялось в названиях книг в следующие десятилетия, выяснится, что было не более пяти таких книг в шестидесятые годы, шестнадцати – в семидесятые, тридцати четырех – в восьмидесятые, тогда как в девяностые произошел заметный скачок – 98 книг. За первые пятнадцать лет этого столетия вышла 161 книга с данным термином в заглавии, то есть они появлялись по одной в месяц. Таким образом, слово «гегемония» перестало быть редким или таинственным.

Что скрывается за этой переменной? Идея гегемонии – подобно идеям модерна, демократии, легитимности или многим другим политическим понятиям – имеет сложную историю, которая не передается сегодняшним широким распространением этого термина и которую надо понять, если мы хотим разобраться с ее значением для современной ситуации, в которой мы оказались. Эта история охватывает во-

семь или девять разных национальных культур, и надо будет сказать о каждой из них. При рассмотрении судьбы этого понятия мы будем здесь использовать прежде всего методы сравнительной исторической филологии. Однако изменения в его смысле – различные применения, противоположные коннотации – никогда не были всего лишь семантическими сдвигами. Они сами образуют политический барометр изменения сил и периодов в ходе столетий.

Нижеследующее исследование выходит вместе с другим, «Антиномиями Антонио Грамши», в котором намного подробнее исследуется особый (и, пожалуй, самый известный) корпус работ, сосредоточенных на идеях гегемонии, а также контекст, в котором он был создан. Читатели, взявшиеся за обе эти книги, должны быть снисходительны к встречающимся в данной работе небольшим, весьма сжатым повторам того, что в расширенном виде изложено в другой, поскольку избежать такого интеллектуального пересечения было бы невозможно. Цели и методы двух этих исследований не совпадают, даже если они могут считаться взаимодополняющими. Акценты в них, сами производные от разных времен, у которых очень мало общего друг с другом, различаются более радикально. Но работа, написанная сорок лет назад, стала стимулом для другой, а связь между ними оказалась достаточно тесной, чтобы их можно было опубликовать в виде такой асинхронной пары.

Идеей этой книги я обязан Институту передовых иссле-

дований (Institut d'Études Avancées) в Нанте, где мне, когда я работал над смежным проектом, исследованием американской внешней политики, впервые пришла в голову мысль о том, как могла бы выглядеть данная книга. Я должен особо поблагодарить за советы по литературе на двух языках, читать на которых я не умею, китайском и японском, исследователей, владеющих ими и великодушно вызвавшихся мне помочь: Эндрю Баршейя, Мэри Элизабет Берри, Джошуа Фогеля, Анник Хориюки, Эрика Хаттона, Като Тсюёси, Питера Корники, Джерона Ламерса, Марка Эдварда Льюиса, Кэйт Вилдман Накаи, Тимона Скрича, Вана Чаохуа и Чжэня Йонгла. Написать девятую главу этой книги не получилось бы без их помощи, но никто из них не несет ответственности за ошибки, которые там наверняка встречаются, не говоря уже о взглядах на те или иные предметы, выраженные в других частях книги. Восьмая глава первоначально была опубликована в несколько более просторном виде в журнале *New Left Review* (№ 100, июль-август 2016 года).

Октябрь 2016 года 9

1. Начала

I

Исторически термин «гегемония» восходит, конечно, к греческому глаголу, обозначающему «вести» или «направлять» и встречающемуся уже у Гомера. Как абстрактное существительное *hēgemonia* впервые появляется у Геродота, у которого она обозначает руководство союзом городов-государств ради достижения общей военной цели, то есть почетное положение, которое в период сопротивления персидскому вторжению в Грецию занимала Спарта. Она была связана с идеей лиги, члены которой в принципе равны, но могут выдвинуть одного из членов союза, чтобы он руководил ими в общем деле. С самого начала «гегемония» сосуществовала с другим термином, обозначающим правление в более общем смысле – *arkhē*. Как соотносились эти понятия? В знаменитом отрывке из «Истории Греции», в котором обсуждается Делосский союз V века до н. э., во главе которого стояли Афины, выдающийся либеральный историк Грот, близкий к Джону Стюарту Миллю, утверждал, что *hēgemonia* означала лидерство, основанное на «присоединении или согласии» без принуждения, тогда как *arkhē* предполагало «высший ав-

торитет или же принуждающее достоинство» владычества, вызывающего, в отличие от гегемонии, всего лишь «покорность». Фукидид провел строгое различие между ними, раскритиковав переход Афин от *hēgemonia* к *arkhē*, в котором он видел фатальную причину Пелопонесской войны [55; р. 395–397]. С этим мнением соглашается последний из современных исследователей, изучавших эти свидетельства античности. Концепции гегемонии и власти вступили в «смертельную схватку». Сила – вот «то, что составляет различие» [193, р. 74, 31].

Каким бы принципиальным ни было это противопоставление, современникам оно, однако, оставалось чуждым. У Геродота и Ксенофона *hēgemonia* и *arkhē* используются едва ли не как синонимы. Возможно, Фукидид был щепетильнее? Абзац, на который опирался Грот, открывается первым термином, а заканчивается вторым, прочерчивая линию развития, которая не предполагает их противопоставления¹.

В других частях его повествования действующие лица не проводят между ними различия. Во время Сицилийской экспедиции афинский посол открыто уравнивает их: «После

¹ Возможна также интерпретация, согласно которой формулировки Фукидида указывают на характер, а не на собственно возникновение афинской *arkhē*, поскольку в других частях текста, например, в I, 99, он, похоже, возводит эту афинскую власть к формированию Делосского союза. Критику истолкования этого пассажа у Грота, как и того, что оно стало общепринятым доказательством, см. в подробнейшем исследовании Ричарда Уинтона, который приходит к весьма категоричным выводам [198, р. 147–152].

Персидских войн мы приобрели флот и избавились от владычества и гегемонии лакедемонян» – *arkhēs kai hēgemonias*². Наиболее важно то, что именно Перикл пояснил своим согражданам, что они должны гордиться *arkhē*, а не «гегемонией» и не упускать первую из рук. Он говорит им: «Вам надлежит оказывать содействие тому почетному положению, которое занимает наше государство благодаря своему могуществу, которым вы все гордитесь, и или не уклоняться от трудов, или вовсе не гнаться за почетом. Не думайте, что борьба идет только об одном, о рабстве вместо свободы; она идет о потере власти и об опасности, угрожающей вам за ненавистное ваше владычество». Государственный муж, чью умеренность Фукидид неустанно восхвалял, пришел к выводу: «Останется память о том, что мы, эллины, имели под своей властью наибольшее число эллинов и в жесточайших войнах устояли как против отдельных врагов, так и против всех сил их в совокупности, что мы занимали город богатейший во всех отношениях и величайший» [232, II, 63–64]. Утверждая позитивное значение *arkhē*, Фукидид приписал ее, эту власть, Периклу в качестве высочайшей похвалы: «По имени это была демократия, на деле власть принадлежала первому гражданину» (*tou prōton andros arkhē*) [232, II, 65].

То, что идеи гегемонии и власти (или владычества) в классической Греции перетекали друг в друга, не составляя оче-

² Вследствие чего «мы пользуемся властью нашею по заслугам» [232, VI, 83–84].

видного контраста, обосновывалось значениями обеих. Первое академическое исследование гегемонии, написанное на закате Веймарской республики Хансом Шефером, показало, что она и правда была лидерской позицией, которую члены союза уступали по собственной воле, однако лидерство это ограничивалось отдельной миссией, не являясь общим авторитетом. Так, кому-то могли поручить командовать на поле боя [162, p. 196–251]. Война, а не мир, – вот область применения гегемонии. Но поскольку военное командование является самым непреложным из всех видов руководства, гегемония с самого начала была применением безусловной власти. Подобная власть была временной и неограниченной. Но разве есть что-то более естественное и предсказуемое, чем стремление гегемона, раз уж его выбрали, продлить сроки применения своей власти и расширить ее границы³? Если *hēgemonia*, занимающая один конец спектра власти, могла по самой своей природе подвергнуться расширению, *arkhē*, находящаяся на другом конце, оставалась конститутивно двусмысленной, переводясь в зависимости от контекста (или склонностей переводчика) либо как нейтральное правление,

³ Виктор Эренберг писал: «Наблюдалась тенденция передачи высшей власти в Союзе непосредственно в руки гегемона, а также сокращения и последующей отмены автономии союзников. Это означает тенденцию к переходу от союза, управляемого гегемоном, к „*arkhē*“, единой власти, основанной на господстве. Такая тенденция проявлялась в разных формах и в разной степени; но присутствовала она повсюду. Выход из Союза означал теперь не просто нарушение клятвы, но и политическое восстание» [41, p. 113].

либо как господствующее владычество. В риторике V века ассоциации первой с согласием, а второй – с принуждением были вполне доступны и применялись в тактических целях, но скольжение от одной к другой не позволяло провести четкие демаркационные линии.

Эта ситуация изменилась в IV столетии. После поражения в Пелопонесской войне афинская риторика, которая уже не могла, как раньше, восхвалять власть, снова начала ценить достоинства гегемонии, которая теперь была подана соответственно – в качестве морального идеала ослабевших. Исократ, призывая греков снова объединиться против Персии под предводительством Афин, требует гегемонии для своего города, превознося его культурные достоинства: пользу, которую этот город принес другим городам за всю его историю, и прежде всего его достижения в философии, красноречии и образовании. Его «Панегирик» – наиболее систематичное из всех, что можно найти в литературных источниках, утверждение гегемонии как свободно признаваемого превосходства. Но даже он не может обойтись без показательного контрапункта, оттеняющего иное гегемонии: греки должны быть очень благодарны и за «величайшую власть», которой афиняне владели [214: 107]⁴. После двадцати пяти

⁴ Отметив, что афиняне традиционно «не оскорбляли эллинов, но оказывали им услуги» и «считали своим долгом быть полководцами, а не тиранами», он объясняет, что, если жители Мелоса были истреблены, это значит, что им просто воздали по заслугам: «Нельзя считать признаком плохого управления, если некоторые из воевавших с нами бывали сурово наказаны» [227: 80, 100–101].

лет отступлений и унижений Исократ, выступая за мир с союзниками, которые поднялись против господства Афин, пожаловался на то, что «мы жаждем владычества несправедливого, недостижимого и не способного принести нам пользы», из-за стремления к которому в Пелопонесской войне «они [руководители государства] испытали больше и более серьезных бедствий, чем когда-либо довелось испытать нашему городу» [215: 66, 86]. К тому времени, когда от *arkhē* пришлось отказаться, Исократ сделал гегемонию чем-то совершенно невесомым в своем «гимне логосу», в котором тот становится силой слова, властвующей над любыми вещами, – *hapantōn hēgemonā logon*, – слова, носителем авторитета которого сам он являлся [216: 9; 217: 13]. В реальном мире ее конечным итогом стала полная противоположность, когда царь, которого он некогда пытался умиротворить, сокрушил сопротивление полиса македонскому правлению. Благодаря завоеванию Филипп стал «гегемоном Греции», формально закрепившись в таком статусе в Коринфе⁵.

Обращаясь к прошлому, Аристотель напишет об Афинах и Спарте, что «те два греческих государства, которым принадлежало главенство в Греции, насаждали в соответствии со своим государственным устройством в других государствах одно – демократию, другое – олигархию, причем счи-

⁵ Обсуждение отрывков из Арриана с титулами *hegemon autokrator*, которым Александр чествовал своего отца, и *hēgemon tes Hellados*, как он называл самого себя, а также их вариаций в других источниках, см. в [17: 48–49].

тались с выгодой не этих двух государств, но лишь со своей собственной», так что в итоге в «государствах установилось такое обыкновение: равенства не желать, но либо стремиться властвовать, либо жить в подчинении, терпеливо перенося его» [207: IV, 1296a]. Другими словами, гегемония по самой своей сущности была интервенционистской. Уложения Коринфского союза, также номинально являвшегося союзом равных, зашли дальше любого прецедента, поскольку отражали автократическую власть Филиппа, позволяя гегемону предпринимать действия против любых изменений в конституции полиса и, в частности, тех, что предписывают «конфискацию собственности, перераспределение земель, отмену долгов и освобождение рабов ради целей революции». Даже Джордж Коквелл, ведущий современный историк карьеры Филиппа и неизменный почитатель этого царя, был вынужден спросить: «Не было ли греческое общество начиная с 337 года заморожено? И если да, то в чьих интересах? Суждено ли было македонским приспешникам остаться у власти навеки?», но потом он заявил о необходимости «смягчить это суровое суждение», поскольку в конце концов «воцарение Филиппа в 337 году прошло при поддержке народа» [22, р. 171, 174–175]. Отметив в заключение, что «действительную тайну Коринфского союза следует искать в роли гегемона», он, возможно, сказал больше того, чем хотел сказать.

II

Такого состояния термин «гегемония» достиг ко времени Аристотеля, но потом не получил развития. Политическому словарю Рима он не требовался: его союзники были сломлены и поглощены расширяющейся республикой, с чьей структурой не мог сравниться ни один греческий город-государство. Запрос на эвфемизм или двусмысленность сократился. Также после краха Рима «гегемония» не вошла в европейские языки Средневековья или раннего Нового времени. В переводе Фукидида, выполненном Гоббсом, это слово не встречается ни разу⁶. В современном политическом языке оно оставалось почти совершенно неизвестным вплоть до середины XIX века, когда оно впервые всплывает в контексте, не связанном с обсуждением античности, в Германии, где на нем сходятся линии национального объединения и классической филологии: увлеченные греческим прошлым историки, которых тогда в стране было множество, начали превозносить Пруссию как королевство, способное повести за

⁶ Он передает *hēgemonia* в разных местах по-разному, как «командование» или «авторитет» [232: I, 75, 96–97, 120]. *Arkhe* становится в основном «господством» – *dominion* [232: I, 75; II, 62, 65; V, 69; VI, 83, 85], но также «правлением», «командованием», «правлением другими», «свободой» и только в одном отрывке «владычеством» (*empire*), хотя это как раз тот самый пассаж I, 97, который был выбран Гротом, когда он провел свое различие, к чему его подтолкнул, возможно, сам Гоббс.

собой по пути единства другие немецкие земли. В Англии Грот не смог добиться прав гражданства для слова «гегемония» и подвергся критике за стремление его использовать, поэтому и сам он вернулся в своих более поздних работах к более неопределенному «руководству». Отметив это чуждое новшество в словоупотреблении, лондонская *Times* указывала: «Несомненно, Пруссией, заявляющей о своих правах, движет знаменательная претензия на руководящую роль или, как говорят в этой стране профессоров, на „гегемонию“ в Германском союзе» [149].

Со времени освободительных войн против Наполеона либеральные и националистические мыслители взирали на Пруссию, надеясь, что она приведет расколотившую нацию к единству – надежды на ее будущее *Führung* (предводительство) или *Vorherrschaft* (преобладание) в таком начинании были достаточно распространенными мотивами начавших тогда формироваться устремлений. В 1831 году либеральный юрист из Вюртембурга Пауль Пфицер, успешный филолог-классик, впервые внес поправки в этот словарь, предложив гораздо более проработанные аргументы для обоснования той роли, которую Берлин должен был сыграть в будущем Германии, изложив их в форме диалога двух друзей – *Briefwechsel zweier Deutscher* («Переписки двух немцев»). Должна ли Германия сначала добиться политической свободы, чтобы прийти к национальному единству, или же свобода наступит только тогда, когда страна достигнет националь-

ного объединения благодаря прусской военной мощи? Пфифер не слишком сомневался в том, какой из этих двух доводов сильнее: «Если мы не обманываемся многочисленными знаменами, Пруссия призвана той судьбой, что подарила ей Фридриха Великого, встать на защиту Германии», то есть призвана к «гегемонии», которая в то же время подтолкнет «развитие общественной жизни, взаимодействие и борьбу различных сил» внутри страны [156: 270–272, 174–175].

К революции 1848 года термин «гегемония» стал паролем либеральных историков, стремившихся навязать Пруссии роль, от которой отказывался берлинский двор. Моммзен, восходящая звезда в области исследований римского права, увлекся публицистикой и заявил, что «у жителей Пруссии есть право настаивать на своей гегемонии как условии их вступления в Германию», поскольку «только прусская гегемония может спасти Германию»⁷. Дройзен, заведовавший кафедрой в Киле, опубликовал в 1830 году прорывную работу об Александре Великом, за которой последовало два тома о его наследниках, в которых, собственно, и было изобретено понятие об эллинистической эпохе в антич-

⁷ Добавляя, впрочем, что, хотя «прусское государство выступает за прогресс», «каким бы большим и сильным оно ни было, оно падет, если остановится на достигнутом. Поэтому Пруссия должна распространиться на [всю] Германию». У других немецких земель было «лишь название государств, на деле они были провинциями» [124]. Позже Моммзен импортирует греческий термин в историческую работу, которая сделает его знаменитым: см. его «Историю Рима», в первом томе которой есть глава, посвященная «Римской гегемонии в Лации».

ной цивилизации, представленной в качестве ключевого переходного периода между классическим миром и христианским⁸. Эту благочестивую тему предварял, однако, панегирик македонской власти как творческой силе, которая положила конец «хаотичной и позорной» ситуации Греции, «до смерти измученной запутанной политикой маленьких государств»: Филипп и Александр одержали победу над «старой и одряхлевшей демократией» Афин, отстаиваемой Демосфеном, и «открыли Азию» для притока «эллинской жизни» [39: 33, 45]. Мало кто упустил из виду аналогию с современностью. «Военная монархия Македонии в отношении к раздробленному, погрязшему в частностях миру Греции выглядела как сегодняшний образец для прусского владычества над мелкими немецкими государствами, которого жаждали патриоты, – отметил Хинце в своем некрологе Дройзену. – Объединение нации и общее национальное государство выступают высочайшим требованием эпохи и мерилom исторического суждения. Александр заслуживает всяческих похвал, а Демосфен – безусловного порицания» [82: 97]⁹.

⁸ Момильяно, стремясь снять с раннего Дройзена обвинения в узком национализме, будет размышлять именно над этим религиозным уроком, хотя позже все равно упрекнет Дройзена – «одного из величайших историков всех времен» – в том, что он занял чисто политическую, а не культурную позицию по отношению к эллинизму, не сумев в полной мере оценить иудаизм как один из факторов возникновения христианства. См. [123: xi, xvi; 122: 307–320].

⁹ Естественно, взгляд Грота как представителя английского либерализма на правителей Македонии был диаметрально противоположным. Филипп, вынудивший афинян признать его «лидерство в греческом мире», представлялся «разру-

Таким образом, Дройзен прекрасно подходил для ведущей роли во Франкфуртском парламенте 1848 года, секретарем конституционного комитета которого он стал. «Разве сила и величие Пруссии не является для Германии благословением?», – спрашивал он годом ранее. В преддверии собрания парламента он в апреле отметил: «Пруссия уже является наброском Германии», в которую та должна влиться, так что ее [Пруссии] армия и казна станут остовом единой страны, ибо «нам нужно сильное *Oberhaupt* [руководство]» [40: 83, 135]. В декабре он написал одному своему другу: «Я работаю, используя все способности, которые у меня только есть, на наследственную гегемонию Пруссии», то есть на то, чтобы предложить династии Гогенцоллернов имперское правление в Германии [38: 496]. Отказ Фридриха Вильгельма IV поднять корону из сточной канавы Франкфуртского парламента оказался тяжелым ударом. Однако Дройзен не потерял надежды. В мае 1849 года он сказал своим коллегам, что

шителем свободы и независимости» греков [57: 700, 716]. Об Александре, чей греческий контингент при вторжении в Азию Грот сравнивал со злосчастными немцами, которых Наполеон против их воли погнал в Россию, он сказал: «Все его выдающиеся качествагодились лишь для того, чтобы применять их против врагов, в число которых попало все человечество, известное и неизвестное, за исключением тех, что решили ему подчиниться» [58: 69–70, 352]. К Дройзену он относился, как и следовало ожидать, критично [58: 357, 360]. По вопросу расходящихся позиций Дройзена и Грота касательно Александра, а также эллинизма, как и по философско-политическим установкам каждого из них (гегельянство и романтический национализм в одном случае; Бентам и либеральный империализм в другом), см. весьма проницательные размышления в работах [139: 11–17; 186: 36–51].

его группа должна выйти из собрания, но остаться верной «вечной идее прусской гегемонии» [94: 561]. Остаток жизни он посвятил истории монархии Гогенцоллернов и их подданных.

Более радикальный, чем Дройзен и его друзья по фракции «Казино» в парламенте, историк литературы Гервинус, один из «Геттингенской семерки», уволенный со своих постов из-за протеста против упразднения королем конституции Ганновера, основал в середине 1847 года ставшую рупором немецкого либерализма *Deutsche Zeitung* – после многих лет, как сам он потом написал, когда он «проповедовал верховенство Пруссии в немецких делах, с кафедры и в прессе, во времена, когда ни одна прусская газета не осмеливалась сказать ничего подобного» [48: 32]¹⁰. Во Франкфуртском парламенте, как и на страницах *Deutsche Zeitung*, он продолжал отстаивать гегемонию Пруссии в Германском союзе, а в начале 1849 года призвал к войне с Австрией ради достижения «малогерманского» (*kleindeutsch*) единства. Когда Фридрих Вильгельм IV отклонил предложенную ему роль, Гервинус, заявивший, что «Пруссия от нас дезертировала», поклялся отныне ненавидеть Берлин и в конце жизни сравнивал прусское объединение Германии с македонским уничтожением свободы и независимости в Греции, а войну Бисмарка с Францией – с французским завоеванием Алжи-

¹⁰ Опубликовано вдовой Гервинуса после его смерти.

ра¹¹. Вспоминая о прошлом, он одновременно и порицал себя за былые иллюзии, и оправдывал себя, цитируя свои статьи в *Deutsche Zeitung* в качестве нелицеприятных показаний против самого себя, но одновременно заявлял, что, даже когда отстаивал руководящую роль Пруссии, всегда оставался строгим федералистом, никогда не желавшим «принудительной гегемонии» (*Gewalthegemonie*), «унитарного государства» или же «псевдосоюза» [48: 82–89]¹².

Через какое-то время остальные члены его группы в той или иной мере примкнули ко Второму рейху. Прославление триумфа последнего – задача, которая досталась их молодому коллеге Трейчке. Ярый сторонник единообразной и централизованной Германии, этим существенно отличавшийся от своих предшественников, Трейчке преодолел свое разочарование, вызванное тем, что конституция Бисмарка не отменяла статуса второстепенных принцев и их владений в федеральной структуре, прославив беспрецедентного гегемона, который в конечном счете завершил формирование имперской системы, добившись несравненных успехов в управле-

¹¹ См. [187: 162–165]. В 1848 году Гервинус уже заговаривал о том, что «абсолютное единство» может быть навязано Германии в «александровом стиле», однако предсказывал, что такое македонское завоевание потерпит неудачу из-за «отсутствия преемников у любого такого Александра и вероятной реакции на местах» (см. [48: 95]).

¹² Эта «Самокритика», написанная от двух лиц, обвинителя и ответчика, выражает горечь, равной которой не найти в истории данной отрасли знания. Многозначительный термин *Gewalthegemonie* и связанные с ним другие термины сперва появились в его работе *Denkschrift zum Frieden* (p. 32).

нии своей армией, в дипломатии и экономике¹³.

Когда новый режим консолидировался, эти разговоры по-утихли. Они опирались на аналогию или даже скорее на теорию, следов которой не осталось, и, как только унификация была завершена, стали неуместными. Пруссия, конечно, сохранила свое преимущество в рамках империи, однако восхвалять его как гегемоническую власть, связывающую страну воедино, стало весьма сомнительным занятием. В официальном дискурсе преобладала, скорее, тема естественного единства немецкой нации, которая освещалась то под одним углом, то под другим. Словоупотребление, характерное для 1848 и конца 1860-х годов, оставалось эпизодическим, не получив устойчивого развития даже в академии. Показательно, что, когда Бруннер, Конце и Козеллек создали в 1975 году свой знаменитый восьмитомный компендиум основных исторических понятий *Geschichtliche Grundbegriffe*, отдельной статьи для «гегемонии» в нем не нашлось.

¹³ «Прусская гегемония опирается не на одну лишь высшую власть, но на все основания нашего нового государства, заложенного Пруссией, – заявил он. – Гегемоническая позиция Пруссии в Империи не имеет аналогов в истории федераций». Статус Голландии в Соединенных провинциях не мог выступать подходящей аналогией. См. [182: 236–237]. См. также его замечания касательно Нидерландов в [183: 312–314].

2. Революции

I

Успеха понятие гегемонии добьется в другом месте. Его корни – в дискуссиях революционного движения в царской России начала XX века. В этой основополагающей русской традиции «гегемония» стала использоваться по-новому, для определения политических отношений, но не между государствами, а внутри их. В письме Струве от 1900 года Павел Аксельрод ввел это словоупотребление, чтобы отделить собственно социал-демократическую оппозицию автократии Романовых от более общей демократической: «Я считаю, что в силу исторического положения нашего пролетариата русская демократия может приобрести гегемонию в борьбе с абсолютизмом» [227: 141–142].

Годом позже, критикуя экономистские тенденции в рабочем движении, Плеханов публично заявил: «Наша партия [...] возьмет на себя почин борьбы с абсолютизмом», чтобы дать «русской социал-демократии – этому передовому отряду русского рабочего класса – политическую гегемонию в освободительной борьбе с царизмом» [228: 101–

102]¹⁴. Сила этой идеи заключалась в перспективе свержения старого порядка, где целью – с чем все марксисты были в то время согласны, поскольку учитывали социально-экономическую отсталость России, – могла быть лишь буржуазная революция, устанавливающая демократическую республику. Русская буржуазия была слишком слабой, чтобы взяться за это дело. Поэтому задачей рабочего класса становилось руководство борьбой против старого порядка. «Гегемония» в качестве термина, обозначающего такую задачу, была выбрана неслучайно. Дело в том, что последнюю можно выполнить только в том случае, если рабочему классу удастся объединить все угнетенные слои населения в качестве союзников, которыми он будет руководить.

Ленин, который в начале 1902 года писал свои статьи, будучи еще молодым коллегой Аксельрода и Плеханова, сформулировал, что это должно значить на практике:

Вот почему наш прямой долг разъяснить пролетариату, расширять и, путем активного участия рабочих, поддерживать всякий либеральный и демократический протест, будет ли он проистекать из столкновения земцев с министерством

¹⁴ Этот текст впервые вышел в «Заре», ежемесячнике, близком к «Искре», в апреле 1901 года. В период между появлением письма Аксельрода и статьи Плеханова в небольших марксистских группах тех времен, должно быть, проходили ожесточенные дискуссии, поскольку Ленин — жалуясь на то, что в переговорах, которые велись со Струве по вопросу о совместных публикациях, последний мог одержать верх, — через три месяца, в январе 1901 года, написал Плеханову: «Спрашивается, неужели пресловутая „гегемония“ социал-демократии не окажется при этом простым *cant*’ом?» [223: 80].

внутренних дел, или дворян с ведомством полицейского православия, или статистиков с помпадурками, крестьян с «земскими», сектантов с урядниками и проч. и проч. Кто морщит презрительно нос по поводу мизерности некоторых из этих столкновений или «безнадежности» попытки раздуть их в общий пожар, тот не понимает, что всесторонняя политическая агитация есть именно фокус, в котором совпадают насущные интересы политического воспитания пролетариата с насущными интересами всего общественного развития и всего народа в смысле всех демократических элементов его.

Он предупредил о том, что любой, кто сторонится этого, «на деле [...] пасует перед либерализмом, отдавая в его руки дело политического воспитания рабочих, уступая гегемонию политической борьбы» [222: 268–269]. Именно эта точка зрения определила как работу «Что делать?», которая вышла позже в том же году, так и ленинские эскапады, с которых началась «Искра», первый выпуск которой содержал крайне едкую критику объединенной империалистической экспедиции в Китай во время Боксерского восстания, второй – страстный призыв поддержать студентов в их конфликте с правительством, третий – требование «выкинуть знамя освобождения русского крестьянства от всех остатков позорного крепостного права». Через несколько месяцев в ней можно было найти и слова в поддержку несогласных представителей дворянства¹⁵.

¹⁵ См. работу «Китайская война»: «Пресмыкающиеся перед правительством и

К 1904 году РСДРП раскололась, и меньшевистское крыло стало разрабатывать свой собственный взгляд на то, что является общим отличительным признаком партии. Один из его ведущих мыслителей, Александр Потресов, объяснял теперь, что конкретной формой, которую должна принять гегемония пролетариата в России, являются всеобщие выборы, которые только и могут объединить сколько-нибудь демократические элементы страны. Высмеивая такое умаление идеи, как «неотразимый реактив», который сводит ее к поиску наименьшего общего знаменателя, Ленин накануне революции 1905 года сказал в ответ, что, напротив, «с пролетарской точки зрения гегемония в войне принадлежит тому, кто борется всех энергичнее, кто пользуется всяким поводом для нанесения удара врагу». Когда в 1905 году разрази-

перед денежным мешком журналисты из кожи лезут вон, чтобы разжечь ненависть в народе к Китаю. Но китайский народ ничем и никогда не притеснял русского народа: китайский народ сам страдает от тех же зол, от которых изнемогает и русский, – от азиатского правительства, выколачивающего подати с голодающих крестьян и подавляющего военной силой всякое стремление к свободе, – от гнета капитала, пробравшегося и в Срединное царство» [220: 383–383]; «Отдача в солдаты 183-х студентов»: «И тот рабочий недостойн названия социалиста, который может равнодушно смотреть на то, как правительство посылает войско против учащейся молодежи. Студент шел на помощь рабочему – рабочий должен прийти на помощь студенту» [221: 395]; «Рабочая партия и крестьянство»: «[...] когда мы сумеем дать лозунг для такого воздействия и выкинем знамя освобождения русского крестьянства от всех остатков позорного крепостного права» [226: 437]; «Две предводительские речи»: «А предводителям дворянства мы скажем, прощаясь с ними: до свидания, господа завтрашние наши союзники!» [219: 347].

лась революция, Ленин превратил повестку, которая оставалась довольно абстрактной, в хорошо сфокусированную социальную стратегию. Крестьянство представлялось главным союзником, которого рабочий класс должен повести за собой ради общей победы над царизмом, руководя стихийными силами восстания в деревне, показавшими себя во всем своем размахе. Это была бы буржуазная революция, которая не могла преодолеть капитализм, но власть должно было взять не буржуазно-либеральное правительство. Предполагалось, что это, скорее, будет «демократическая диктатура пролетариата и крестьянства», что является оксюмороном, означаящим политический режим, в котором диктатура, а именно правление силой, устанавливалась бы над враждебными классами, то есть феодалами-землевладельцами и буржуа-капиталистами, тогда как гегемония – правление по согласию – определяла бы отношения рабочего класса с классами-союзниками, прежде всего с крестьянством, которое составляло подавляющее большинство населения.

Когда монархия оправилась и смогла подавить восстания 1905–1907 годов, меньшевистская реакция заключалась в отказе от концепции, которая, как соглашался Потресов, являлась оригинальной идеей русского марксизма и сыграла позитивную роль на рубеже веков, но была искажена в результате бланкистского поворота Ленина, а теперь и вообще устарела. Аксиома гегемонии пролетариата предполагала, что либеральная буржуазия не способна на революцион-

ную борьбу с абсолютизмом, однако воинственность кадетов показала, что это ошибка. Задача (с точки зрения Потресова) отныне состояла не в том, чтобы держаться за слишком уж амбициозное требование, время которого прошло, а в том, чтобы отказаться от подпольной работы и создать открытую классовую партию, которая не нуждалась бы в поучениях радикального крыла интеллигенции¹⁶.

Большевики, ухватившись за фразу Аксельрода, раскрытиковали этот поворот как откровенную ликвидацию революционной традиции «Искры». Потресов, по словам Каменева, относился теперь к идее гегемонии рабочего класса как к «случайному и временному зигзагу демократической мысли» [218: 12]¹⁷. Ленин, спровоцированный на самые содержательные из своих компаративистских размышлений о «громадном разнообразии комбинаций», составлявших буржуазные революции, сказал Мартову, что в России нельзя ожидать никакого окончательного столкновения землевладельческого дворянства и либеральной буржуазии, возможны лишь «мелкие раздоры». Сужать горизонт пролетариата ради построения классовой партии – значило скатиться назад к экономизму: отказ от идеи гегемонии представлялся

¹⁶ Свое наиболее развитое выражение этот взгляд получил в 700-страничном сборнике «Общественное движение в России в начале XX-го века», вышедшем под редакцией Мартова, Маслова и Потресова в Санкт-Петербурге в 1909 году. Большая статья Потресова «Эволюция общественно-политической мысли в предреволюционную эпоху» (с. 538–639) была в нем самым важным текстом.

¹⁷ В издание вошли две статьи за сентябрь-октябрь 1909 года.

«самым грубым видом реформизма». Скорее, рабочий класс должен продолжать политическое обучение крестьянства в общей борьбе с царизмом. Это нисколько не отвлечет его от его классовой сущности, напротив, именно в такой работе он действительно мог стать классом. В наиболее глубоком из своих теоретических замечаний касательно этого вопроса Ленин утверждает: «С точки зрения марксизма, класс, отрицающий идею гегемонии или не понимающий ее, есть не класс или еще не класс, а цех или сумма различных цехов» [224: 84, 85; 225: 309, 111].

Ленин не отказывался от этой позиции на протяжении всех лет реакции, последовавших за 1907 годом, когда шансов на успех у таких взглядов не было, вплоть до начала Первой мировой войны. Когда в 1917 году царизм был неожиданно свергнут, пришло их время. В октябре одна из центральных идей такой позиции получила развитие, когда большевики, как предводители большинства рабочего класса в Петрограде и Москве, отобрали власть у Временного правительства, подавили силой власть землевладельцев и капиталистов и привлекли к своему делу крестьян, не принуждая их, но сделав своими лозунгами «хлеб», «землю» и «мир». Однако, вопреки другой догме, произошедшая революция не была буржуазной, она вышла за границы капитализма. Сбылось предсказание Троцкого о прямом переходе к социализму¹⁸. Не гегемония, а диктатура пролетариата, о

¹⁸ Когда он разошелся после 1905 года с большевистской программой, то напи-

которой говорил Маркс, – вот что определило новое советское государство. Как только оно было создано, традиционная формула исчезла из работ Ленина. События ее обогнали.

II

В начале 1920-х годов, когда гражданская война была выиграна, в России термин «гегемония» потерял актуальность, но большевистское понятие гегемонии получило распространение на международной арене, закрепившись в уставных документах Коминтерна в качестве директивы для партий за пределами СССР. Соответственно, оно оказало суще-

стал: «Гегемония пролетариата в демократической революции резко отличалась от диктатуры пролетариата и полемически противопоставлялась ей» [231: 350]. После смерти Ленина Сталин будет использовать термин «гегемония» в 1927 году в своей атаке на Троцкого (и Зиновьева с Каменевым, к нему присоединившихся), обвинив его в игнорировании значения крестьянства в завоевании и удержании власти в России: «Основной грех троцкизма состоит в том, что он не понимает и, по сути дела, не признает ленинской идеи гегемонии пролетариата (в отношении к крестьянству) в деле завоевания и упрочения диктатуры пролетариата, в деле построения социалистического общества в отдельных странах» [229: 73]. Сталин использовал этот термин исключительно конъюнктурно: в своих собственных «Основах ленинизма», вышедших в 1924 году, то есть до того, как наметился курс на зачистку оппозиции, он написал [230: 127]: «Гегемония пролетариата была зародышем и переходной ступенью к диктатуре пролетариата», то есть она сыграла подготовительную роль в большевистской стратегии захвата власти, которая теперь осталась в прошлом. Что касается сохраняющейся потребности в союзе с крестьянством, предположительно отрицавшейсяевой оппозицией, в течение года после написания этого труда Сталин начал полномасштабную войну с крестьянством, которому была навязана коллективизация.

ственное влияние на Грамши, молодого лидера итальянского коммунизма, которого его партия на какое-то время отрядила в Москву. Но когда он вернулся в Рим, в Италии победу одержала не социалистическая революция, а фашистская контрреволюция. Остаток своей активной жизни Грамши, арестованный по приказу Муссолини, провел в тюрьме. В последние месяцы перед задержанием он, ориентируясь на очевидные параллели с Россией, стратегической целью сделал «гегемонию пролетариата» – привлечение большинства крестьянства к делу рабочего класса, представляемого итальянской партией. В тюрьме он снова и снова возвращался к идее гегемонии, причем ее эвристическая проработка и спектр интерпретаций позволили превратить ее в гораздо более важное понятие, чем в русских дискуссиях, и впервые оформить что-то вроде теории гегемонии.

В России «гегемония» обозначала роль рабочего класса в буржуазной революции против абсолютизма, которую сама буржуазия выполнить не могла. Однако в Западной Европе агентность и процесс совпадали, а не расходились: буржуазия совершила собственные революции и правила капиталистическими государствами, сложившимися на их основе. К чему в итоге должна была прийти логика гегемонии? Ответ Грамши – и его самый главный ход – заключался в обобщении гегемонии, в ее расширении за пределы стратегии рабочего класса, так что теперь она должна была характеризовать устойчивые формы правления любого соци-

ального класса: в первую очередь и главным образом классов, владеющих средствами производства, землевладельцев и промышленников, против которых понятие гегемонии как раз и было первоначально обращено в России. Так, в самом первом отрывке из «Тюремных тетрадей», в котором упоминается гегемония, Грамши отвел почетное место – как ее историческому примеру – пьемонтской партии умеренных во главе с Кавуром, действовавшей в период Рисорджименто. Эта коалиция ориентированных на рынок землевладельцев и промышленников, как указывал Грамши, доминировала в процессе объединения Италии в XIX веке и контролировала его, оттеснив более радикальную партию действия Мадзини и его мелкобуржуазных сторонников, а также решительно исключив любые по-настоящему народные – рабочие и крестьянские – формы политического самовыражения.

Совершив это социологическое расширение понятия, Грамши не мог не изменить значение русского термина. Дело в том, что капиталистическое правление, установленное в Италии Кавуром и его преемниками, предполагало, конечно, насилие, причем значительное, с многочисленными случаями применения военной силы и полицейской резней, – но также и согласие¹⁹. Это была первая модификация. Вто-

¹⁹ Криспи, который поучаствовал в сицилийской экспедиции Гарибальди, стал «верным человеком новой буржуазии», когда два десятилетия спустя пришел к власти: чтобы закрепить единство государства, но не решать земельный вопрос, «он так использовал ржавую кулеврину, как будто бы она была современным артиллерийским орудием» [212: 353–354].

рая, не менее важная, подчеркивалась проведенным Грамши сравнением между Рисорджименто и Французской революцией. Во Франции якобинцы решили аграрный вопрос, чего не смогли сделать умеренные: распределив землю между крестьянами и объединив нацию в борьбе с иноземными агрессорами, они заложили основы для намного более органичной формы буржуазной гегемонии будущей эпохи, способной пережить толчки, следовавшие в XIX веке за землетрясением революции. Во Франции, как отмечал Грамши, «„нормальное“ осуществление гегемонии характеризуется сочетанием силы и согласия, принимающих различные формы равновесия, исключаящие слишком явное преобладание силы над согласием; напротив, пытаются даже добиться видимости того, будто сила опирается на согласие большинства, выражаемое через так называемые органы общественного мнения» [212: 219–220].

Это указывало на совершенно иной вид согласия, отличный от того, что был предметом русских дискуссий: речь шла не о присоединении союзников к общему делу, а о подчинении противников порядку, им враждебному. В «Тетрадах» гегемония получает, таким образом, два семантических расширения, которые находятся друг с другом в определенном противоречии. Теперь она стала обозначать согласие, которого правители добиваются от тех, кем правят, и в то же время применение принуждения с целью упрочить их правление. Как показывают исходные формулировки Грамши, его

намерение состояло в том, чтобы объединить два этих момента. Однако его тюремные заметки остались фрагментарными, незаконченными и не всегда согласованными, в них встречаются колебания и противоречия в выражениях. Во многих из них гегемония не включает в себя применение силы, а, напротив, противопоставляется ему, что соответствует русским источникам его идей²⁰. По числу таких отрывков больше. У этого перекоса были вполне разумные причины. Ни одному коммунисту поколения Грамши не нужно было – в личных заметках или каких-то других текстах такого рода – специально подчеркивать, что капитализм на Западе опирался как на машину политических репрессий, так и на представительство. Объяснить требовалось то, как, в противоположность России, эксплуататорский порядок смог добиться морального согласия подвластных на господство, им установленное. Такое идеологическое господство, как утверждал Грамши, должно предполагать систему описаний мира и преобладающих в них ценностей, которые в значительной мере усваиваются теми, кто подчинен этой системе.

²⁰ Имелись, конечно, и итальянские источники. Кентавр Макиавелли, наполовину человек, наполовину животное, символизировал две перспективы, необходимые в политике: «силу и согласие, власть и гегемонию, насилие и гражданственность», тогда как Кроче делал упор на тот «момент, который в политике называется „гегемонией“ согласия, гегемонией, осуществляемой через сферу культуры в отличие от момента насилия, принуждения, законодательного, государственного и полицейского вмешательства». См. [212: 158; 213, с. 225]. «Государство (в его интегральном значении) – это диктатура плюс гегемония» [59: 810–811].

Как удалось добиться этого? По мысли Грамши, главную роль сыграли два фактора западноевропейских обществ, у которых не было аналогов в царской России. Первый – роль высококультурного, давно сложившегося интеллектуального слоя в развитии и распространении идей правящего порядка, которые спускались на подчиненные классы. Представители этого слоя были главными проводниками гегемонии, и Грамши сосредоточил на них все свои компаративистские способности: в основном он брал примеры из европейских стран – Британии, Германии, Франции или Италии, но также из Северной и Южной Америки, Индии, Китая и Японии, что вполне соответствовало широте его интересов. Второе отличие состояло в плотности добровольческих ассоциаций гражданского общества: газет, журналов, школ, клубов, партий, церквей, в том или ином отношении обеспечивающих имидж капиталу. Поскольку после Первой мировой войны революционная волна в Центральной Европе утихла, установилось негласное мнение, согласно которому надежд на скорый захват власти в Западной Европе не было, поэтому коммунисты должны были сосредоточиться на задаче первоначального ослабления идеологической власти капитала над массами в этой области, где они могли бороться за гегемонию рабочего класса в классическом смысле, пусть и на гораздо более сложной и проблематичной территории.

Между строк у Грамши вычитывалась вторая причина, объясняющая перечень факторов, обсуждаемых в связи с те-

мой гегемонии. С самого начала он подчеркивал (если использовать формулировку из его первого пассажа, где встречается термин «гегемония»): «Социальная группа может и даже должна выступать как руководящая еще до захвата государственной власти (в этом заключается одно из важнейших условий самого завоевания власти). Впоследствии, находясь у власти и даже прочно удерживая ее, становясь господствующей, эта группа должна будет оставаться в то же время «руководящей»». Ленин привел большевиков к победе в 1917 году, когда крестьяне, сидевшие в окопах, дезертировали, променяв Временное правительство на программу, предложенную рабочей партией. С завершением кровопролитной гражданской войны диктатура пролетариата консолидировалась. Но что должно было стать с союзом, который сделал Октябрьскую революцию возможной, да и с самой партией, которая была его архитектором, после этой проверки насилием? В письме Тольятти в Москву, написанном непосредственно перед арестом, Грамши выразил резкое несогласие с разгромом левой оппозиции в коммунистической партии Советского Союза, ознаменовавшим собой начало сталинской автократии, а в его тюремных заметках встречаются опасения, что советский режим движется в сторону репрессий, которые, скорее всего, подорвут народное согласие с ним, а не расширят его в том смысле, какой предполагался Лениным. Последний призывал к «культурной революции», основанной на распространении кооперативов в

сельской местности, что было прямой противоположностью принудительной коллективизации, которая к концу 1920-х подорвет крестьянство, поставив крест на остатках «гегемонии пролетариата». Явный интерес Грамши к специфическим чертам Запада оттенялся невысказанной тревогой за процессы, получившие развитие на Востоке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.